Ж. Бодрийяр Прозрачность зла

ЗЕРКАЛО ТЕРРОРИЗМА

Зачем существует терроризм, если не для того, чтобы служить

разновидностью насильственного освобождения от напряжения в

социальном поле?

В событиях, подобных имевшему место в 1985 году на стадионе

Эзель в Брюсселе поражает воображение не просто насилие, а то, что

это насилие приобрело новое обличие из-за того, что телевидение

сделало его общедоступным.

Неужели в конце XX века возможно такое варварство? Вопрос

тщетный. Речь идет о воскрешении некогда отмершей формы насилия.

Устаревшее насилие является одновременно и более изощренным, и

более жертвенным. Наше насилие, порожденное нашей

сверхсовременностью - это террор. Это подобие насилия: оно

возникает скорее от экрана, чем от страсти, оно той же природы,

что и изображение. Насилие потенциально существует в пустоте

экрана благодаря дыре, которую он открывает в ментальное

[112]

пространство. До такой степени, что лучше не находиться в

общественном месте, где работает телевидение, в силу высокой

вероятности насильственного события, которое оно индуцирует своим

присутствием. Повсюду можно наблюдать прецессию средств массовой

информации в отношении террористического насилия. Именно это

придает насилию специфически современную форму, гораздо более

современную, нежели так называемые "объективные причины", которые

мы стараемся ему приписать: ни политические, ни социальные, ни

психологические причины несоизмеримы с этим событием.

Удивительно и то, что его в каком-то смысле ожидали. Все мы

сообщники в ожидании этого рокового сценария, даже если его

осуществление вызывает у нас волнение и потрясение. Говорят, что

полиция ничего не предпринимала, чтобы предупредить взрыв насилия,

но никакая полиция не в состоянии предотвратить это помутнение

разума, это коллективное домогательство терроризма.

Подобное событие связано с внезапной кристаллизацией насилия

в подвешенном состоянии. Это не есть столкновение

антагонистических страстей или враждебных сил. Это -

равнодействующая сил бездеятельных и безучастных, часть которых

qnqr`bk~r инертные созерцатели телеэкранов. Насилие со стороны

хулиганов есть не что иное, как обостренная форма безразличия,

которая лишь потому вызывает столько откликов, что играет на

губительной кристаллизации

[113]

безразличия. В своей основе насилие, как и терроризм, не событие,

а скорее отсутствие события, принимающее форму взрыва,

направленного внутрь(1): взрывается политическая пустота (а не

злоба той или иной группы людей), молчание истории (а не

психологическое подавление индивидуумов), безразличие и безмолвие.

Таким образом, терроризм не есть какой-то иррациональный эпизод

нашей общественной жизни: ему присуща четкая логика ускорения в

пустоте.

Терроризм связан и с другой разновидностью логики - с

инициативой перемены ролей: зрители (например, английские

болельщики) становятся актерами. Они заменяют собой исполнителей

главных ролей (футболистов) и под взором средств массовой

информации ставят свой собственный спектакль (надо признать,

гораздо более завораживающий, чем обычное представление). Не этого

ли требуют от современного зрителя? Разве его не просят стать

актером и, оставив свою зрительскую инертность, включиться в

спектакль? Не есть ли это лейтмотив всякой культуры, связанной с

участием зрителя? Парадоксально, но именно в спектаклях такого

рода как бы сама по себе материализуется современная

гиперсоциальность, которой свойственно принимать участие в чем-

либо. Можно сколько угодно сожалеть об этом, но две сотни разбитых

кресел на

------------------------------

(1) Характеризуя форму взрыва, автор использует

прилагательное "implosive", противопоставляя его прилагательному

"explosive" (прим. переводчика)

[114]

концерте рока есть признак успеха. Где же кончается участие и

начинается эксцесс? На самом деле, говоря об участии, умалчивают о

том, что его приемлемая форма должна ограничиваться лишь знаками

участия. Но так бывает не всегда.

Римляне имели смелость ставить подобные спектакли со зверями

и гладиаторами прямо на сцене; у нас же таковое действо происходит

за кулисами, случайно, в сопровождении взлома. Мы осуждаем эти

представления во имя морали, но всем миром отдаем их на съедение

телевидению: именно им были посвящены на телевидении первые

несколько минут хит-парада года. Даже Олимпийские игры в Лос-

Анджелесе в 1984 году были превращены в гигантский парад, во

всемирное шоу, над которым, как в Берлине 1936 года, царила

атмосфера терроризма, демонстрирующего свое могущество - мировое

спортивное зрелище, возведенное в ранг стратегии холодной войны,

полная утрата олимпийских принципов. Как только спортивные

принципы оказываются извращенными, спорт можно использовать в

любых целях: став парадом престижа или парадом насилия, он

постепенно из соревнований и зрелищ превращается в

головокружительные цирковые игрища, от которых мутится разум (если

пользоваться классификацией Кайуа). Такова общая тенденция нашего

общества: системы представительства сменяются системами

притворства и помутнения рассудка. Не избежала этой участи и

политика.

[115]

За трагедией в Эзеле, впрочем, стоит форма государственного

терроризма, который выражается не только в запрограммированных

действиях (ЦРУ, Израиль, Иран). Существует способ проводить

наихудшую, провокационную по отношению к своим же гражданам

onkhrhjs, способ доводить до отчаянья целые слои населения,

подталкивая их к ситуации почти самоубийственной; этот способ

является составной частью политики некоторых современных

государств. Так, миссис Тэтчер сумела отделаться от шахтеров,

применив стратегию наихудшего: они кончили тем, что

дискредитировали себя в глазах общества. Та же стратегия была

применена к хулиганствующим безработным: это выглядело так, как

будто она создала из них отряды коммандос, которые намеревалась

заслать за границу, разумеется, осуждая их при этом, но грубость,

выказываемая ими, наглядно проявлялась и у нее самой при

исполнении служебных обязанностей. Эта стратегия расправы,

осуществляемая более или менее открыто во всех современных

государствах и служащая в основном для алиби в кризисных

ситуациях, может привести лишь к таким крайностям, как последствия

терроризма, для которого государство отнюдь не является врагом.

С того момента, как государства оказываются не в состоянии

нападать друг на друга и заниматься взаимным уничтожением, они

почти автоматически обращают взор в сторону своей соб-

[116]

ственной территории и своего населения, развязывая гражданские или

междоусобные войны против естественно сложившихся у себя же

отношений (не является ли уничтожение естественных отношений

предназначением любого знака, любой значимой и представительной

инстанции?).

Во всяком случае, такова неявная судьба политического

деятеля, и это прекрасно, хотя и несколько смутно, осознают все

представители мира политики. Все мы, сами того не ведая, являемся

маккиавелистами благодаря смутному пониманию того, что

политическое представительство есть не что иное, как

диалектическая фикция, за которой скрывается смертельный поединок,

желание обрести власть и погубить противника, и желание это

потенциально в состоянии привести человека к гибели или

добровольному рабству; всякая власть зиждется на Гегемонии

Государя и на Холокосте Народа.

И тогда речь уже не заходит ни о народных представителях, ни

о законном монархе; эта политическая конфигурация уступает место

дуэли, где нет места вопросу об Общественном договоре,

трансполитической дуэли между стремящимися к тоталитарному

самоуправлению инстанциями и ироничной, строптивой, агностической,

инфантильной массой, которая больше не разговаривает, а ведет

переговоры. Это - ипохондрическое состояние тела, пожирающего

собственные органы. Неистовую ярость, с которой власти и

государства изничтожают свои собствен-

[117]

ные города, пейзажи, собственное существо вплоть до

самоуничтожения, можно сравнить лишь с яростью, с которой прежде

уничтожались города, пейзажи и существо врага.

При отсутствии оригинальной политической стратегии (которая,

быть может, уже и невозможна), при невозможности разумного

управления социальными отношениями государство теряет свою

социальную сущность. Оно уже не функционирует в соответствии с

политической волей, им управляет шантаж, устрашение, притворство,

провокации или показные хлопоты. Оно изобретает политику, в том

числе и социальную, которой присущи безразличие и отсутствие

эмоций.

Такова реальность трансполитического; за всякой официальной

onkhrhjni стоит циничное упорство, порожденное исчезновением

социального. Хулиганы представляют собой лишь крайность этой

политической ситуации, они доводят степень участия до трагической

крайности и в то же время осуществляют шантаж в отношении насилия

и устранения. То же самое делают и террористы. И то, что нас

завораживает в этих действиях вопреки всей нравственной реакции на

происходящее, - это доведенная до высшей точки актуальность данной

модели, тот факт, что она отражает, словно зеркало, наше

собственное исчезновение в качестве политического общества, что

безусловно пытаются скрыть политические псевдособытия.

[118]

Отзвуком событий в Эзеле стал другой эпизод: в сентябре 1987

года в Мадриде проходил матч на кубок Европы между мадридским

"Реалом" и командой Неаполя. Матч проходил ночью, на пустом

стадионе, при полном отсутствии публики, что являлось

дисциплинарной мерой со стороны Международной федерации - мерой с

целью предотвращения эксцессов наподобие тех, что учинили

мадридские болельщики на предыдущем матче. Тысячи болельщиков

осаждали стадион, но проникнуть туда не смогли. Матч целиком

транслировался по телевидению.

Запреты такого рода никогда не уничтожат шовинистическую

страсть к футболу, но они служат прекрасной иллюстрацией

террористического суперреализма нашего мира, где "реальные"

события происходят в пустоте, выброшенные из своего привычного

окружения и наблюдаемые лишь издалека, по телевизору. Это является

как бы хирургическим предвосхищением будущих событий: событие, о

котором идет речь, было столь минимальным, что могло бы вовсе не

иметь места, но его воспроизведение на экране получило

максимальный размах. Никто не переживал связанные с ним перипетии,

но все заполучили его изображение. Оно сделалось чистым событием,

существующим вне всяких естественных связей с окружающим, и его

эквивалент вполне можно было бы представить в виде синтезированных

изображений.

[119]

Совершенно очевидно, что этот матч-фантом связан с тем, что

проходил в Эзеле, где реальный футбольный матч оказался заслонен

гораздо более драматической формой насилия. Именно для того, чтобы

избежать такого (всегда возможного) поворота событий, когда

публика перестает быть публикой и превращается в жертву или в

убийцу, когда спорт перестает быть спортом и принимает облик

терроризма, публику просто-напросто изгоняют, и это дает

уверенность в том, что в дальнейшем придется иметь дело лишь с

событием, транслируемым по телевидению. Все намеки на окружение

должны исчезнуть с тем, чтобы это событие стало приемлемым на

интеллектуальном телеэкране.

Дела политические также разыгрываются на своего рода пустом

стадионе (такова, например, форма представительства), откуда

изгнана вся реальная публика, способная на слишком бурные эмоции,

и откуда не исходит ничего, кроме повторной телезаписи -

обследования, кривые, опросы общественного мнения. И все это

продолжает функционировать и даже овладевать нашими умами, но,

если проявить больше проницательности, то эту ситуацию можно

сопоставить с тем, как если бы некая Международная Политическая

федерация остановила публику на неопределенное время и изгнала ее

со всех стадионов, чтобы обеспечить нормальный ход игры. Это и

есть наша трансполитическая сцена - прозрачная форма социального

прост-

[120]

ранства, откуда были изгнаны действующие лица, чистая форма

события, из которой исчезли все страсти.

[121]

КУДА ЖЕ ПРОНИКЛО ЗЛО?

Терроризм во всех его формах есть трансполитическое зеркало

Зла. Единственный настоящий вопрос, встающий перед нами, - вопрос

о том, куда проникло Зло. Оно проникло повсюду: анаморфоз всех

современных форм Зла бесконечен. (В обществе, которое, встав на

путь профилактики и умерщвления своих естественных отношений,

обеления насилия, искоренения своих начал и всех проклятых

аспектов методами эстетической хирургии, хирургического

облагораживания отрицательного, не желает иметь дела ни с чем,

кроме четкого управления и дискуссий о Добре, в обществе, где

больше нет возможности говорить о Зле, - в таком обществе Зло

трансформируется в различные вирусные и террористические формы,

преследующие нас.)

Могущество анафемы, сила проклятия исчезли из нашей жизни. Но

они снова проявляются в другом виде. Так, Хомейни в деле Рушди не

только продемонстрировал свою силу, заставив

[122]

Запад охранять заложника и в каком-то смысле превратив в

заложника весь Запад, но и представил сенсационное доказательство

того, что символическая мощь слова может ниспровергнуть все

сложившиеся соотношения сил.

Перед лицом всего мира при соотношении всех политических,

военных и экономических сил явно не в свою пользу, аятолла

располагает одним-единственным оружием, оружием нематериальным, но

близким к совершенству: это принцип Зла - отрицание западных

ценностей прогресса, рациональности, политической морали,

демократии и т. п. Отрицание всеобщего согласия в отношении всех

значимых вещей придает ему сатанинскую энергию отверженного,

ярость проклятия. Сегодня только он имеет право голоса, потому что

он один обеспечивает вопреки всему манихейскую позицию принципа

Зла, он - единственный, кто призывает Зло и изгоняет его, кто

соглашается воплотить принцип Зла в жизнь посредством террора. Для

нас остается неясным, что же руководит им. Зато мы можем

констатировать, что, благодаря всему этому, он обладает

превосходством перед Западом, где нет возможности призывать Зло,

где виртуальное согласие душит малейший негативизм. Наша

политическая власть сама по себе есть не что иное, как видимость

собственной деятельности. Потому что власть существует только

благодаря этой символической возможности указывать на Инакого, на

Врага, на цель, угрозу, Зло. Сегодня власть уже не

[123]

обладает такой возможностью и, соответственно, не существует

оппозиции, которая могла бы или желала бы указать на власть, как

на источник Зла. Мы стали слишком слабы в том, что связано с

сатанинской энергией, энергией иронической, полемической,

антагонистической, мы стали обществом фанатически изнеженным или

изнеженно фанатичным.

Поскольку мы стремимся изгнать из себя проклятое начало и

тщимся представить во всем блеске только положительные ценности,

мы стали страшно уязвимыми для малейшей вирусной атаки, в том

числе и той, которую предпринимает аятолла, отнюдь не страдающий

иммунным дефицитом. Мы можем противопоставить ему лишь права

человека - скудный ресурс, который сам по себе является частью

политического синдрома иммунного дефицита. Впрочем, во имя прав

человека аятоллу в конце концов стали рассматривать как

"абсолютное Зло" (Миттеран), т. е. приспособились к его проклятию,

вступив, таким образом, в противоречие с правилами просвещенных

диспутов. (Ведь сегодня сумасшедшего не считают сумасшедшим. Мы

даже не рассматриваем увечного человека в качестве такового, до

такой степени мы боимся Зла, до такой степени мы битком набиты

эвфемизмами, дабы избежать обозначения Другого, несчастья,

неизбежности.) Не будем удивляться, что некто, способный

выражаться литературным и возвышенным языком Зла, вызывает такой

приступ слабости западной

[124]

культуры вопреки требованиям интеллектуалов. Дело в том, что и

законность, и добропорядочность, и, наконец, сам разум становятся

сообщниками проклятия. Они могут только мобилизовать все средства

анафемы, но тут же попадают в ловушку принципа Зла, который

чрезвычайно заразен. Кто же выиграл? Конечно же, аятолла.

Разумеется, у нас остается возможность его уничтожить, но

символически победил именно он, а символическое могущество всегда

превосходит могущество оружия и денег. Это своего рода реванш

другого мира. Третий мир никогда не мог бросить Западу настоящий

вызов. И СССР, который в течение нескольких десятилетий был для

Запада воплощением Зла, теперь постепенно и демонстративно

становится на сторону Добра, на сторону умеренного правления (по

восхитительной иронии именно Советский Союз, хотя мир и не

осознает этого, выступает в роли посредника между Западом и

тегеранским Сатаной после того, как в течение пяти лет он защищал

западные ценности в Афганистане).

Эффект очарования, притягательной силы и одновременно

всеобщего отвращения, вызванный смертным приговором Рушди, похож

на феномен внезапной разгерметизации кабины самолета из-за

пробоины или трещины в фюзеляже (даже когда она возникает

случайно, она все равно похожа на террористический акт). Все

яростно стремится наружу, в пустоту в соответствии с разностью

давлений между двумя пространствами.

[125]

Достаточно пробить брешь, дырочку в тончайшей пленке,

разделяющей два мира. Терроризм, захват заложников - это

преимущественно тот акт, который пробивает эту брешь в

искусственно созданной и искусственно защищенной вселенной

(каковой наша вселенная и является).

Весь современный мир ислама, совсем не похожий на тот, что

существовал в средние века, мир, который надо расценивать в

терминах стратегических, а отнюдь не нравственных или религиозных,

сегодня стремится создать пустоту вокруг западной системы (включая

и страны Востока), пробивая время от времени единым действием или

словом в этой системе бреши, через которые все наши ценности

проваливаются в пустоту. Ислам не оказывает революционного

давления на западный мир, он не отваживается на попытку обратить

его в свою веру или одержать над ним победу; он довольствуется

тем, что лишает его стабильности посредством вирусной атаки во имя

принципа Зла, которому нам нечего противопоставить, а также путем

постоянной угрозы внезапной разгерметизации и исчезновения воздуха

ценностей, которым мы дышим, что в охраняемой нами вселенной -

нашей вселенной - становится возможным из-за виртуальной

катастрофы, порожденной разностью давления между двумя средами.

Верно, что немалая часть кислорода уже улетучилась из западного

мира через разные щели и отверстия. В наших интересах хранить

кислородные маски.

[126]

Вопреки общепринятому мнению, стратегия аятоллы поразительно

современна. Она гораздо современнее нашей, ибо ее суть в том,

wrna{ вводить в современный контекст архаичные элементы: ипе

fatwa, смертную казнь, проклятие - все равно, что именно. Все это

не имело бы смысла, если бы западный мир был прочен. Но вся наша

западная система, напротив, резонируя, погружается в бездну: она

служит сверхпроводником этого вируса. Как это понимать? Мы снова

наблюдаем реванш Другого Мира: в то время, как мы привнесли в

остальной мир достаточно зародышей, болезней, эпидемий и

идеологий, против которых архаичные элементы были бессильны,

сегодня, когда по иронии судьбы события принимают обратный ход,

мы, кажется, остаемся совершенно беззащитными перед маленьким

гнусным архаичным микробом.

Заложник сам по себе становится микробом. В своей последней

книге "Ремесло заложника" Ален Боске показывает, как частица

западного мира, оказавшись в пустоте, не может и даже не хочет

вернуться в свою среду обитания, будучи обесцененной в своих же

собственных глазах, а более всего потому, что и ее страна, и ее

сограждане также унижены своей вынужденной пассивностью,

повседневной трусостью, позорными и по существу бесполезными

переговорами.

Помимо переговоров каждый факт взятия заложника служит

доказательством неизбежной трусости целых сообществ, в случаях,

когда речь

[127]

идет о любом их члене. Это безразличие общества порождает

безразличное к нему отношение со стороны каждого индивидуума:

именно так мы функционируем на Западе, это и есть политическая

беспомощность, которую безжалостно изобличает стратегия захвата

заложников. Когда какой-либо индивидуум теряет под собой опору,

дестабилизируется вся система в целом. Вот почему заложник даже не

может простить обществу того, что из него мимоходом сделали героя,

которого однако тут же ловко использовали в своих целях.

Мы не знаем, что творится в голове аятоллы или в сердцах

мусульман. Все, что мы можем - это не поддаваться несостоятельной

идее, будто во всем этом повинен религиозный фанатизм. Боюсь

только, что мы недостаточно вооружены, чтобы принять вызов этого

символического насилия в тот самый момент, когда мы пытаемся

исключить Террор из воспоминаний о Французской революции в угоду

памяти, которая, уподобляясь согласию, все больше походит на

громоздящееся сооружение. Что мы можем сделать перед лицом этого

нового насилия, если мы пытаемся стереть насилие из своей

собственной истории?

Мы больше не умеем произносить проклятия. Мы умеем

произносить только речи о правах человека - об этой благоговейной,

слабой, бесполезной, лицемерной ценности, которая зиждется на

просвещенной вере в естественную силу

[128]

Добра, на идеализации человеческих отношений (тогда как для

Зла не существует иной трактовки, нежели само Зло).

Более того, об идеальной ценности этого Добра всегда

говорится в покровительственной, уничижительной, негативной,

реакционной манере. Это есть сведение Зла к минимуму,

предупреждение насилия, стремление к безопасности. Эта

снисходительная и давящая Сила доброй воли помышляет лишь о

справедливости в обществе и отказывается видеть кривизну Зла и его

смысл.

Свобода слова существует лишь тогда, когда это слово является

"свободным" выражением индивидуума. Если же под словом понимать

двойственную, сопричастную, антагонистическую, обольстительную

форму выражения, тогда понятие свободы слова теряет всякий смысл.

А существует ли право на желание, на необдуманные поступки,

op`bn на наслаждение? Полный абсурд. Так, сексуальное освобождение

становится смешным, когда пытается заговорить на языке права. Наша

"знаменательная" Революция обнаруживает свою смешную сторону,

когда начинает рассуждать в терминах прав человека.

"Право на жизнь" заставляет трепетать все набожные души до

того момента, пока из него не выводят логически право на смерть,

после чего его абсурдность становится очевидной. Потому что

смерть, как и жизнь, есть судьба, фатальность (счастливая или

несчастная), но отнюдь не право.

[129]

Почему бы не потребовать "права" быть мужчиной или женщиной?

Или же Львом, Водолеем или Раком? Но что значит быть мужчиной или

женщиной, если на то существует право? Очаровательно то, что жизнь

поставила вас по ту или другую сторону, а играть предстоит вам

самим. И разрушать это правило символической игры не имеет

никакого смысла. Я могу потребовать права ходить шахматным конем

по прямой, но какой в этом смысл? Права такого рода просто нелепы.

По жестокой иронии мы дожили до права на труд. До права на

безработицу! До права на забастовку! Никто уже даже не замечает

сюрреалистического юмора таких вещей. Бывает, однако, этот черный

юмор прорывается наружу. Такова, например, ситуация, когда

приговоренный к смерти американец требует для себя права на казнь

вопреки всем лигам защиты прав человека вместе взятым, бьющимся за

его помилование. Это уже становится интересным. В списке прав

человека имеются, таким образом, неожиданные разночтения:

израильтяне, будучи жертвами во все времена, требуют в качестве

права держать у себя преступников. И получить, наконец, официально

допустимый уровень преступности.

Нет никаких сомнений в том, что СССР сделал огромный шаг на

пути соблюдения прав человека (гораздо больший, нежели это было в

Хельсинки или где-либо еще) благодаря Чернобылю, землетрясению в

Армении и гибели атомной подводной лодки: этот шаг есть право на

катаст-

[130]

рофу. Главные, основные права - право на несчастный случай, право

на преступление, право на ошибку, право на зло, право на самое

худшее, а не только на самое лучшее: и это в гораздо большей

степени, чем право на счастье, делает вас человеком, достойным

этого имени.

Право неизбежно приобретает пагубную кривизну, в соответствии

с которой, если нечто само собой разумеется, то всякое право

становится излишним, но если в отношении той или иной вещи

возникает необходимость установления права, то это означает, что

сама эта вещь приближается к своей гибели. Так, право на воду,

воздух, пространство "скрепляет подписью" быстрое исчезновение

всех этих элементов. Право на ответ указывает на отсутствие

диалога и т. д.

Права человека теряют свой смысл с того момента, когда

человек перестает быть существом безумным, лишенным своей

собственной сути, чуждым самому себе, каковым он был в обществе

эксплуатации и нищеты, где он стал, в своем постмодернистском

воплощении, самоутверждающимся и самосовершенствующимся. В

подобных обстоятельствах система прав человека становится

совершенно иллюзорной и неадекватной - индивидуум податливый,

подвижный, многогранный перестает быть объектом права; он - тактик

и хозяин своего собственного существования, он более не ссылается

на какую-либо правовую инстанцию, но исходит из качества своих

действий и достигнутых результатов.

[131]

Однако именно сегодня права человека становятся актуальной

opnakelni во всем мире. Это единственная идеология, имеющаяся в

запасе на сегодняшний день. Это и говорит о нулевой ступени в

идеологии, об обесценивании всей истории. Права человека и

экология - вот два сосца консенсуса. Современная всемирная хартия

- это хартия Новой Политической Экологии.

Нужно ли видеть в апофеозе прав человека непревзойденный

взлет глупости, гибнущий шедевр, обещающий, однако, осветить конец

века всеми огнями согласия?

[132]

"НЕКРОСПЕКТИВА"

Напрасная шумиха вокруг Хайдеггера не имеет собственно

философского смысла, она лишь является симптомом слабости

современной мысли, которая, за отсутствием притока свежей энергии,

фанатично возвращается к своим истокам, к чистоте своих отношений

и в конце века заново с болью переживает свой примитивный облик

начала века. Говоря более обобщенно, ситуация с Хайдеггером

симптоматична для коллективного возрождения, завладевшего

обществом в час подведения векового итога: это возрождение

фашизма, нацизма, истребления. Здесь и соблазн произвести новое

расследование ранних периодов истории, обелить умерших и

окончательно выверить все счета, и в то же время извращенное

стремление вернуться к источникам насилия, всеобщая галлюцинация

исторической правдивости Зла. Наше современное воображение слишком

слабо, наше безразличие к собственному положению и собствен-

[133]

ному мышлению слишком велико, чтобы мы испытывали нужду в столь

регрессивном чудотворстве.

Хайдеггера обвиняют в том, что он был нацистом. Впрочем,

какая разница, обвиняют его или пытаются оправдать: все люди, как

с той, так и с другой стороны, попадают в одну и ту же ловушку

низменной и вялой мысли, в которой нет ни гордости за свои

собственные рекомендации, ни энергии, чтобы их преодолеть, и

которая растрачивает то, что у нее еще осталось, в тяжбах,

претензиях, оправданиях, исторических проверках. Самозащита

философии, поглядывающей на двусмысленность своих мэтров (даже

топчущихся на одном месте великих мыслителей), самозащита всего

общества, обреченного, за неимением возможности породить другую

историю, муссировать историю предшествующую, чтобы доказать свое

существование и даже свои преступления. Но что это за

доказательство? Именно потому, что сегодня мы более не существуем

ни политически, ни исторически (и в этом суть нашей проблемы), мы

хотим доказать, что мы умерли между 1940 и 1945 годами, в

Освенциме или Хиросиме: ведь это, по крайней мере, достойная

история. Совсем как армяне тщатся доказать, что были вырезаны в

1917 году; доказательство неприемлемое и бесполезное, однако в

какой-то мере живучее. Поскольку философия сегодня исчезла (в этом

и состоит ее проблема: как существовать в исчезнувшем

[134]

состоянии?), она должна доказать, что была окончательно

скомпрометирована, как, например, в случае с Хайдеггером, или же

была лишена голоса, как это произошло в Освенциме. Все это

представляет собой безнадежную попытку прибегнуть к посмертному

оправданию, к посмертному снятию обвинений - и это в тот момент,

когда не существует достаточно истины, чтобы осуществить какую-

либо проверку, достаточно философии, чтобы строить какие-либо

nrmnxemh между теорией и практикой, когда нет исторических

знаний, позволяющих провести расследование какого-либо

исторического доказательства событий прошлого.

Сейчас слишком легко забывают, что вся наша реальность, в том

числе и трагические события прошлого, была пропущена через

средства массовой информации. Это означает, что сейчас уже слишком

поздно все проверять и исторически осмысливать, так как для нашей

эпохи, для конца нашего века весьма характерно исчезновение всех

средств для выяснения исторической правды. Историю надо было

осмысливать, когда она существовала. Хайдеггера надо было

разоблачать (или защищать), когда для этого было соответствующее

время. Судебное разбирательство можно проводить лишь тогда, когда

процесс имеет последовательный характер. Теперь уже слишком

поздно, мы были превращены в нечто иное, и доказательством тому

служит увиденный нами по телевидению

[135]

Холокост - Шоа(1). Эти вещи не были поняты в те времена,

когда мы имели для этого возможность. Отныне они уже не будут

поняты никогда. Не будут поняты потому, что такие основные

понятия, как ответственность, объективная причина, смысл (или

бессмыслица) истории исчезли или находятся в процессе

исчезновения. Эффекты нравственного и коллективного сознания стали

слишком опосредованны, и в терапевтическом неистовстве, с которым

пытаются оживить это сознание, можно ощутить слабое дыхание, все

еще присущее ему.

Мы никогда не узнаем, были ли понятными появление нацизма,

лагерей смерти или Хиросимы. Мы более не находимся в том же

ментальном пространстве. Жертва и палач меняются местами,

происходит преломление и распад ответственности - таковы

добродетели нашего чудесного интерфейса. У нас нет больше сил на

забвение, наша амнезия - это амнезия изображений. Кто же объявит

амнистию, если виновны все? Что же до аутопсии трупов, никто

больше не верит в анатомическую правдивость фактов: мы работаем по

шаблону. Если бы даже эти факты были весьма красноречивы,

бросались бы в глаза, они не смогли бы лишить нас доказательств

или убежденности. Таким образом, по мере того, как мы досконально

изучаем нацизм, газовые камеры и т. п., они становятся все менее

понятны, и в конце

-------------------------------

(1) Шоа (иврит) - истребление евреев нацистами во время

второй мировой войны

[136]

концов мы логично задаем себе потрясающий вопрос: "А вообще, было

ли все это на самом деле?" Возможно, это невыносимый вопрос, но

интерес представляет то, что делает его логически допустимым. А

допустимым его делает именно опосредованная подстановка событий,

идей, истории. Эта подстановка влечет за собой то, что, чем

пристальней мы будем вглядываться во все эти события и идеи, чем с

большим старанием будем пытаться выявить детали и прояснить

причины, тем с большей вероятностью они прекратят свое

существование - прекратят существование в прошлом. Путаница в

отношении тождественности вещей, возникающая при их исследовании и

увековечении. Равнодушие памяти, безразличие к истории, которое

может быть сопоставимо с усилиями взглянуть на все объективно. В

один прекрасный день мы спросим себя: а существовал ли вообще

Хайдеггер? Парадокс Фориссона может показаться гнусным (и таковым

он и является, выражая исторические претензии относительно

реальности существования газовых камер), но, с другой стороны, он

точно воспроизводит движение всей культуры - тупик конца века

галлюцинирующего, завороженного ужасом своих истоков, века, для

jnrnpncn забвение невозможно и единственным исходом остается

отрицание.

Так или иначе, если доказательство бесполезно, ибо не

существует более исторических речей, способных расследовать

процесс, наказание

[137]

также невозможно. Освенцим, истребление искупить нельзя. В

наказании не существует какой-либо равноценности. Нереальность

наказания неизбежно влечет нереальность фактов. То, что мы сейчас

переживаем, - нечто совсем другое. То, что происходит коллективно,

беспорядочно, через все процессы, все полемики, - это переход от

исторической стадии к стадии мифической, это мифическая и

опосредованная реконструкция всех событий. В каком-то смысле это

мифическое превращение - единственное действие, способное, если не

оправдать нас морально, то каким-то фантастическим образом

простить нам изначальное преступление. Но для этого, для того,

чтобы даже преступление стало мифическим, нужно положить конец

исторической реальности. В противном случае, поскольку все это -

фашизм, лагеря, массовое уничтожение - было и остается для нас

исторически неразрешимым, мы будем вынуждены постоянно повторять

это как первоначальную картину. Опасна не ностальгия по фашизму;

действительно опасным, хотя и смехотворным, является это

патологическое возрождение прошлого, в котором все, как

ниспровергатели, так и защитники факта существования газовых

камер, как хулители, так и апологеты Хайдеггера становятся

одновременно действующими лицами и почти сообщниками; опасна эта

коллективная галлюцинация, которая переносит все отсутствующее

воображение нашей эпохи, всякий

[138]

смысл насилия и столь призрачной на сегодняшний день реальности на

другую эпоху, провоцируя при этом некое принуждение заново

пережить ее и вызывая глубокое чувство вины, порожденное нашим

неучастием в ней. Все это точно передает наше безнадежное

стремление подавить эмоциональное напряжение, связанное с тем, что

в реальности эти события ускользают от нас. Дело Хайдеггера,

процесс Барби и т. д. являются смехотворными конвульсиями этой

присущей нам сегодня утрате реальности, и предположения Фориссона

- не что иное, как циничное приписывание ее прошлому. Слова о том,

что "это никогда не существовало", попросту означают, что и мы не

существуем в той степени, чтобы поддерживать память, и ничто,

кроме галлюцинации, не может дать нам возможности ощутить себя

живущими.

Post-scriptum

Разве нельзя, исходя из всего этого, некоторым образом

сократить конец нашего века? Я предлагаю заранее упразднить 90-е

годы, чтобы мы сразу из 89-го года перенеслись прямо в 2000 год.

Ибо, коль скоро этот конец века со всем своим пафосом умирания

культуры, со своими нескончаемыми стенаниями, знамениями,

мумификациями уже наступил, неужели нам предстоит еще десять лет

томиться на этой галере?

[139]

Поправка: Ура! История возрождается!

Событие конца века в действии. Весь мир облегченно вздыхает

при мысли о том, что История, придавленная засильем тоталитарной

идеологии, после снятия блокады со стран Востока все увереннее

bngnamnbker свой курс. Поле Истории, наконец, вновь открыто для

непредсказуемого развития народов и их жажды свободы. В

противоположность гнетущей мифологии, которая обычно сопровождает

конец века, та, что существует сегодня, кажется, должна положить

начало резкому усилению финального процесса, новой надежде, росту

всех ставок.

При ближайшем рассмотрении это событие представляется

несколько таинственным, и его можно было бы сопоставить с

"историческим" неидентифицируемым объектом. Несомненно, эта

оттепель, имевшая место в восточных странах, это высвобождение

свободы из-под глыб льда являет собой необычную ситуацию, но чем

становится свобода после того, как она выведена из замороженного

состояния? Рискованная операция с весьма двусмысленным результатом

(единственное, в чем можно быть уверенным, это в том, что

невозможно снова заморозить то, что однажды было разморожено).

СССР и страны Восточного блока представляли собой, одновременно с

морозильной камерой, испытательный стенд и экспериментальную

установку для свободы, ибо именно

[140]

там она была секвестирована и подвергнута высокому давлению. Запад

же есть хранилище или, скорее, свалка свободы и Прав Человека.

Если сверхзамораживание было отличительным отрицательным знаком

Востока, то сверхжидкое, газообразное состояние нашего Запада еще

более сомнительно, ибо благодаря освобождению и либерализации

нравов и мнений проблемы свободы здесь просто не существует.

Виртуально эта проблема уже решена. На Западе Свобода, идея

свободы умерла самой настоящей смертью, и ее исчезновение четко

прослеживается во всех недавних воспоминаниях. На Востоке она была

убита, но преступление никогда не бывает безукоризненным. С

экспериментальной точки зрения будет интересно увидеть, что

делается со свободой, когда она снова появляется на поверхности,

когда ее воскрешают, предварительно уничтожив все ее признаки. Мы

увидим, что получится из процесса реанимации и посмертной

реабилитации. Оттаявшая свобода, быть может, и не столь

лицеприятна. А что, если мы заметим, что единственное, в чем она

проявляет поспешность - это в рвении к автомобилям, электробытовым

приборам и даже к психотропным средствам и порнографическим

фильмам, т. е. в том, что немедленно перейдет в жидкое состояние,

свойственное Западу, в стремлении от одного конца истории, где

царила мерзлота, перейти на другой конец - к флюидам и движению?

Но особенно увлекательное зрелище являет собой не то, как покорно

[141]

восстанавливают на Востоке поправляющуюся демократию, привнося в

нее новую энергию (и новые рынки). Интереснее всего наблюдать, как

сталкиваются две специфические разновидности конца Истории: та,

где История прекращает существование, дойдя до точки замерзания и

концентрационных лагерей, и та, где она завершается полной

центробежной экспансией средств коммуникации. В обоих случаях речь

идет об окончательном решении, и, возможно, оттепель в отношении

прав человека является социалистическим эквивалентом

"разгерметизации Запада": речь идет о простом рассеяньи в западном

вакууме сил, которые в течение полувека были секвестированы на

Востоке.

Горячность, с которой развиваются события, может быть

обманчива, если в странах Востока она есть не что иное, как

стремление избавиться от идеологии, миметическая тяга к

либеральным странам, где всю свободу уже променяли на технические

средства, облегчающие жизнь. В таком случае мы узнаем, чего же на

самом деле стоит свобода, и поймем, что, наверное, во второй раз

ее обрести невозможно - История никогда не подает своих блюд

onbrnpmn. Напротив, эта оттепель на Востоке может оказать столь же

пагубное длительное воздействие, как избыток углекислого газа в

верхних слоях атмосферы, ибо создается политический парниковый

эффект: такое потепление человеческих отношений в результате

оттаивания льда, примерзшего к коммунистичес-

[142]

кому берегу, приведет к затоплению всех западных берегов.

Любопытно, что, опасаясь климатического таяния льдин и припая, в

плане политическом мы, из демократических побуждений, стремимся к

этому изо всех сил.

Если бы в "старые времена" Советский Союз выбросил на мировой

рынок свой золотой запас, этот рынок полностью утратил бы свою

стабильность. Если страны Востока приведут в движение весь

огромный запас свободы, который они удерживали, то тем самым

лишится стабильности хрупкий метаболизм ценностей Запада, который

желает свободы не как действия, но как виртуального согласованного

взаимодействия, не как драмы, но как глобальной психологической

драмы либерализма. Внезапная инъекция свободы, как реальный обмен,

как грубая и активная трансцендентность, как Идея, была бы целиком

катастрофичной для нашей существующей в определенном температурном

режиме формы распределения ценностей. Однако это как раз то, чего

мы от них требуем: свобода или видимость свободы в обмен на

материальные символы свободы. Получается поистине дьявольский

договор, при котором одни рискуют потерять свою душу, другие -

свой комфорт. Но, быть может, так даже лучше для обеих сторон.

Замаскированное общество, представленное коммунистическими

странами, сбросило свои маски. И каково же его лицо? Что до нас,

мы свое лицо обнажили уже давно, и теперь у нас

[143]

нет ни масок, ни лица. Также, как нет и памяти. Мы словно ищем в

воде бесследно исчезнувшую память, иначе говоря, надеемся, что,

быть может, что-то осталось, тогда как исчезли даже мельчайшие

следы. То же можно сказать и о свободе: нам было бы весьма

затруднительно воспроизвести какой-либо ее признак, и теперь мы

упорно добиваемся ее существования - ничтожно малого, неощутимого,

необнаруживаемого - в среде со столь высокой степенью

разбавленности (программной и операционной), что только ее призрак

витает в памяти, которая есть не что иное, как память воды.

Источник свободы на Западе настолько истощился (и

свидетельство тому - празднование годовщины Революции), что все

наши надежды устремлены на ее открытые и выявленные залежи на

Востоке. Но как только запас свободы оказывается высвобожденным

(сама Идея Свободы стала такой же редкой, как природные

богатства), какие последствия это может иметь, кроме интенсивной

поверхностной энергии обмена, подобно тому, как это происходит на

любом рынке, и последующего быстрого обвала дифференцированных

энергий и ценностей?

Что являет собой Гласность? Ретроактивная прозрачность всех

символов современности в ускоренном темпе и из вторых рук (это

почти постмодернистский римейк нашей первоначальной версии

современности), всех позитивных и негативных символов вперемешку,

т. е. речь идет

[144]

не только о правах человека, но и о преступлениях, катастрофах,

несчастных случаях, число которых в СССР с начала либерализации

режима радостно возрастает. Даже вновь появившаяся порнография, до

сих пор подвергавшаяся строгой цензуре, теперь, как и все

остальное, празднует свое возрождение.

Это и есть эксперимент глобальной оттепели: мы видим, что

преступления, ядерные или природные катастрофы, все то, что прежде

подавлялось, составляет часть прав человека (это, разумеется,

касается и религии и моды без всяких исключений) и являет собой

хороший урок демократии. Так как здесь мы видим демонстрацию всего

того, чем являемся сами, всех так называемых всеобщих эмблем

человеческого рода в виде идеальной галлюцинации и возвращения

всего подавлявшегося ранее, включая все самое худшее, все самое

пошлое и самое затертое в западной "культуре", - все это отныне

будет безграничным. Это - момент истины для этой культуры,

подобный тому, что имел место при столкновении ее с дикими

культурами остального мира (но нельзя сказать, что она

действительно вышла из этой ситуации). Ирония в том, что, быть

может, однажды именно нам придется спасать историческую память о

сталинизме, когда страны Востока окончательно забудут о нем. Нам

надо будет хранить в замороженном состоянии память о тиране,

который сам замораживал

[145]

ход истории, потому что эта эпоха обледенения также составляет

часть всеобщего достояния.

Эти события знаменательны и с другой точки зрения. Тем, кто в

своей добродетели враждебно настроены к Идее конца истории,

следовало бы задаться вопросом о повороте, который совершает

История в событиях сегодняшнего дня, двигаясь не только к своему

концу, составляющему часть ее линейного фантазма, но и к

переворачиванию собственной сути и систематическому стиранию.

Сейчас мы идем к тому, чтобы стереть весь XX век, стереть один за

другим все симптомы холодной войны, может быть, даже все, что

напоминает о второй мировой войне и обо всех политических и

идеологических революциях века. Воссоединение Германии и многие

другие события неизбежны, не в смысле скачка Истории вперед, но в

смысле переписывания заново всего XX века, которое займет

последнее его десятилетие. Двигаясь в том же направлении, мы,

вероятно, вскоре вернемся к Священной Романо-Германской Империи. И

в этом, быть может, и есть озарение этого конца века, подлинный

смысл противоречивой формулы конца Истории. Дело в том, что мы, с

энтузиазмом проделывая погребальную работу, принижаем все

знаменательные события этого века, мы обесцвечиваем его, как если

бы все, что в нем произошло (революции, передел мира, массовые

истребления, насильственная транснационализация государств,

ядерная напряженность),

[146]

короче, История на ее нынешней стадии была бы не чем иным, как

безысходным клубком противоречий, и как если бы все принялись

разрушать эту историю с таким же энтузиазмом, с каким создавали

ее. Реставрация, упадок, реабилитация, восстановление старых

границ, старых различий, особенностей, религий, покаяние - даже на

уровне обычаев - кажется, что все признаки освобождения,

приобретенные в течение века, затушевываются и, быть может, в

конце концов совсем исчезнут один за другим: мы сейчас переживаем

гигантский процесс ревизионизма, но это - не идеологический

процесс, а пересмотр всей Истории, и, кажется, мы спешим достичь

этого еще до окончания века, быть может, в тайной надежде в новом

тысячелетии начать все с нуля. А что, если мы смогли бы все

восстановить в первозданном виде? Но с какого периода следовало бы

начать? С того, что предшествовал XX веку, или с

предреволюционного? И куда может завести нас это устранение, это

принижение? И (как показывают события на Востоке) этот процесс

lnfer развиваться в очень быстром темпе именно потому, что речь

идет не о созидании, а о мощном разрушении Истории, которое едва

не принимает вирусную эпидемическую форму. В конечном итоге

возможно, что 2000-й год вообще не наступит, как мы это

предполагали прежде, просто потому, что изгиб Истории в

противоположную сторону окажется столь явно выраженным, что уже

будет невозможно преодолеть горизонт времени.

[147]

Вероятно, История станет асимптотической траекторией,

бесконечно приближающейся к своему конечному значению, но никогда

его не достигающей и в конце концов удаляющейся от него в

противоположном направлении.

МЕЛОДРАМА РАЗЛИЧИЯ

Но куда же проникли отличия?

Мы пребываем сейчас в оргии открытий, исследований,

"изобретения" Другого. В оргии поиска различий. Двустороннего

интерфейсного, интерактивного сводничества. Однажды пройдя по ту

сторону зеркала отчужденности (стадия зеркала составляет

наслаждение нашего детства), структурные различия быстро и

нескончаемо распространяются в моде, обычаях, культуре. Пришел

jnmev отличиям грубым, резким, связанным с расами, безумием,

нищетой, смертью.

Отличие, как и все остальное, попало под закон рынка, спроса

и предложения. Оно уподобилось продуктам питания. Отсюда его

необычная котировка на Бирже психологических ценностей, на Бирже

структурных ценностей. Отсюда и интенсивная имитация Другого,

особенно ярко проявляющаяся в научной фантастике, где ключевая

проблема всегда состоит в том, каков Другой и где Другой. Но

научная фантастика создана по об-

[184]

разу и подобию пространства нашей повседневности, где царит

необузданная спекуляция и почти что черный рынок отличий и

различий. Настоящая навязчивая экологическая идея, охватывающая

диапазон от индейских резерваций до домашних животных (нулевая

степень отличий!) не считается той, что относится к области

бессознательного (это последний символический капитал, берегите

его, надолго его не хватит, залежи его не бесконечны). Накопления

отличий исчерпываются, мы исчерпали Другого как сырьевые ресурсы

(вплоть до того, что, по словам Клода Жильбера, загнали его под

обломки от подземных толчков и катастроф).

Оказалось, что Другой создан не для того, чтобы быть

уничтоженным, отброшенным, совращенным, но для того, чтобы быть

понятым, освобожденным, взлелеянным, признанным. После прав

Человека следовало бы учредить права Другого. Впрочем, это уже

сделано: существует Всеобщее Право на Различие. Оргия

политического и психологического понимания Другого, его

возрождение там, где его уже нет. Там, где был Другой, появился

Тот же самый.

Но там, где больше ничего нет, и должен появиться Другой. Мы

уже присутствуем не при драме, но при психодраме отличий, как и

при психодраме общности, сексуальности, тела и при мелодраме всего

этого, разыгрываемой посредством аналитических метадискуссий.

Отличие приобрело характер психодрамы, социодрамы, семиодрамы,

мелодрамы.

[185]

В той психодраме, что связана с контактами, тестами,

интерфейсом, мы лишь акробатически симулируем и драматизируем

отсутствие Другого. В этой искусственной драматургии отличие

исчезло отовсюду, но сам субъект стал мало-помалу индифферентен к

собственной субъективности, к собственному отчуждению, совсем как

современное политическое существо становится безразличным к

собственному мнению. Он становится прозрачным, "спектральным"

(Марк Гийом) и в силу этого интерактивным. Потому что в процессе

интерактивности субъект не несет в себе чьего либо отражения. И

это происходит по мере того, как он становится индифферентным к

самому себе, как если бы его живого превратили в ипостась,

лишенную своего двойника, тени, отражения. Такой ценой он

становится доступным для всевозможных комбинаций и связей.

Интерактивное существо, таким образом, рождается не от новой

формы обмена, но от исчезновения социальных связей и отличий. Это

тот другой, что появляется после гибели Другого и уже не есть то,

что было прежде. Это - результат отрицания Другого.

В действительности интерактивность присуща только медиуму или

машине, ставшей невидимой. Механические автоматы еще играют на

различии между человеком и машиной и на привлекательности этого

различия. Но наши интерактивные автоматы, автоматы имитации оста-

[186]

ются равнодушны к этим различиям. Человек и машина здесь

становятся изоморфными и индифферентными, ни он ни она не находит

своего отражения в другом.

Компьютер не имеет двойника. Вот почему он не способен

мыслить. Ибо способность к мышлению всегда приходит к нам от

Другого. Поэтому он, компьютер, так результативен. Компьютеры -

эти чемпионы по устному счету, эти нелепые калькуляторы - являются

аутистами, той разновидностью разума, для которой не существует

Другого, и в силу этого они наделены столь странным могуществом.

Это сама мощь интегральных схем (способных даже передавать мысли

на расстояние). Это - мощь абстракции. Машины действуют так

быстро, потому что они отключены от какого-либо Другого. Они

соединены системами, подобными огромным пуповинам между разумом и

его близнецом. Но в этом гомеостазе Того же самого отличия были

ликвидированы машиной.

Существуют ли еще отличия, при том, что их вымарывают изо

всей этой психодраматической сверхструктуры?

Существует ли физика Другого, или же только метафизика? Есть

ли двойственная форма Другого, или только диалектическая?

Проявляется ли он в виде судьбы, или же только в виде

психологического и социального партнера, несущего с собой

наслаждение?

[187]

Сегодня все говорит между собой в терминах различий. Но

отличие не есть различие. Можно даже предположить, что именно

различия убивают отличие. Когда язык оценивают в системе различий,

когда смысл [языкового явления] сводится лишь к тому, чтобы

демонстрировать дифференциальный эффект, - в этом случае убивается

радикальное отличие языка, кладется конец той двойственности,

которая лежит в самой его сердцевине, двойственности знака и

понятия, им обозначаемого, двойственности языка и его носителя; из

языка устраняется все, что не подлежит устранению: в артикуляции,

в смысле, в посредничестве. Устраняется все то, благодаря чему

язык по своей сути есть Другой для субъекта, то, благодаря чему в

языке существует игра слов, обольстительность материального

воплощения и случайностей, символический смысл жизни и смерти, а

не только ничтожная игра различий, являющаяся предметом изучения

структурного анализа.

Но тогда какой смысл говорить, что женщина - это иное, нежели

мужчина, что сумасшедший - иное, нежели нормальный человек, что

дикарь не есть человек цивилизованный? Можно было бы до

бесконечности задаваться вопросом, кто чей антипод. Является ли

хозяин иным, нежели раб? Да, если говорить в терминах классов и

производственных отношений. Но это противопоставление носит

ограниченный характер. В действительности все происходит совсем не

так. Причастность людей и вещей не есть причастность,

[188]

связанная со структурными различиями. Символический порядок

содержит в себе сложные двойственные формы, которые не

обнаруживают различий между мной и кем-то другим. Пария не есть

нечто иное, чем брамин - судьба одного есть нечто иное, чем судьба

другого. Они неотличимы внутри одной и той же шкалы ценностей. Они

взаимно связаны в незыблемом порядке, в обратимом цикле, подобном

циклу дней и ночей. Представляет ли собой ночь нечто иное, чем

день? Но что тогда вынуждает нас говорить, что мужское начало есть

нечто иное, чем женское? Без сомнения, в отличие от дня и ночи

мужское и женское начала не являются обратимыми моментами, которые

следуют друг за другом и сменяют друг друга в нескончаемом

очаровании. Следовательно, один пол никогда не является иным в

отношении другого; такое возможно разве что в теории

дифференциальной сексуальности, которая в основе своей утопична.

Onqjnk|js различие есть не что иное, как утопия с присущей ей

мечтой разорвать границы [существующего порядка вещей] с тем,

чтобы в дальнейшем восстановить эти границы (то же можно сказать и

о различении Добра и Зла: разделение этих понятий является мечтой,

а стремление их соединить - совершенно фантастической утопией). В

этой единственно присущей нашей культуре перспективе различия

можно говорить о Другом в области секса. Настоящая сексуальность

"экзотична" (в том смысле, который придавал этому слову Сегален):

она заключа-

[189]

ется в полной несопоставимости обоих полов; в противном случае

обольщение просто не могло бы существовать, и в отношениях между

полами царило бы одно лишь отчуждение.

Различия - это регулируемый обмен. Но что же разлаживает,

нарушает этот обмен? Что не подлежит обсуждению? Что не

вписывается в контракт, в структурную игру различий? Что делает

обмен невозможным? Везде, где обмен невозможен, наступает террор.

Любое радикальное отличие является эпицентром террора. Террора,

который оно самим фактом своего существования порождает в обычном

мире. Террора, который мир обрушивает на него в своем стремлении

его уничтожить.

В течение последних столетий все формы сильного отличия волей-

неволей оказались внесены в список различий, который содержит

одновременно включение и исключение, признание и дискриминацию.

Детство, безумие, смерть, варварские общины - всеобщее согласие

интегрировало, взяло на себя, поглотило все это. Безумие, как

только его особый статус оказался подорванным, попадает в более

тонкие психологические сети. Умершие, признанные однажды таковыми,

оказываются за оградой кладбищ и покоятся поодаль вплоть до того,

что лицо смерти стирается вовсе. За индейцами было признано право

на существование лишь в пределах резерваций. Таковы перипетии

логики различия.

[190]

Расизма не существует, пока другой остается Другим, чуждым.

Расизм начинается, когда другой приобретает свойства различимого,

то есть, иначе говоря, становится опасно близким. Именно тогда и

начинаются поползновения удержать его на расстоянии.

"Можно подумать", - говорит Сегален, "что фундаментальные

различия никогда не позволят создать истинное полотно без швов и

заплат и что нарастающее сближение, падение барьеров, больший

пространственный ракурс должны сами каким-то образом

компенсироваться созданием новых перегородок и непредусмотренных

лакун".

Расизм и есть одна из этих "новых перегородок". Снятие

эмоционального напряжения в психодраме различий, фантазм и

навязчивая идея стать Другим. Психодрама вечного поглощения и

отторжения Другого. Изгнать Другого, материализуя различия любой

ценой, - настолько верным является то, что это поглощение различий

невыносимо... Расизм не имеет оснований для своих биологических

притязаний - но если подойти к этому явлению объективно, то можно

сказать, что расизм обнаруживает идеологический соблазн, который

живет в сердце каждой структурной системы: это соблазн фетишизации

различия. В дифференцированных системах не существует равновесия -

различие колеблется от абсолютного максимума до нуля. Умеренное

управление отличиями и различиями - утопия.

[191]

Коль скоро логика различий является в какой-то мере

универсальной имитацией, достигающей кульминации в абсурдном

"праве на различие", эта имитация постепенно принимает форму

безнадежной галлюцинации различия, коей и является расизм. В то

время, как различия и культ различий быстро распространяются, еще

быстрее растет другая необычная, аномальная сила, непостижимая для

критического разума: "непредусмотренные лакуны", о которых говорит

Сегален. О новых различиях речь больше не идет; для того, чтобы

предотвратить полную гомогенизацию мира, появляется чудовищная

метафора Другого, компиляция всех отличий, приговоренных нашей

системой к уничтожению, - смертоносная вирусная Отчужденность.

За неимением биологически соотносимого, расизм находит себе

пищу в мельчайших различиях в расстановке знаков, действие

которой, становясь вирусным и автоматическим, непрерывно

продолжается в торжестве общепризнанной семиотики; этот расизм

нельзя победить никаким гуманизмом различия, ибо он воплощает

самый вирус различия.

Проблема чудовищных форм, которые приобрело здесь отличие,

никогда не будет разрешена наставлениями по поводу внутреннего

приятия Другого и усвоения различий, поскольку формы эти явились

на свет именно по причине этой навязчивой дифференциации, этой

фанатичной диалектики "меня и того, что отлично от меня".

[192]

В этом и состоит слабость "диалектических" мыслей об отличии,

уповающих на разумное использование различия. Такого применения

различию найти невозможно, и расизм в своей вирусной, имманентной,

современной, окончательной форме с очевидностью доказывает это.

Вот почему можно сказать, что критика расизма по существу

завершена, подобно тому, как говорил Маркс о завершении по

существу критики религии. С тех пор, как метафизическая гипотеза

религии доказана, религия обречена на исчезновение в условиях

более прогрессивного способа производства. С тех пор, как доказана

несостоятельность биологической теории рас, расизм обречен на

исчезновение в условиях, более приближенных ко всеобщему смешению

различий. Разве что в отношении религии Маркс не предусмотрел

того, что, перестав существовать в качестве метафорической и

трансцендентальной формы, она приобретет имманентность и

предстанет в виде многочисленных идеологических и практических

вариаций, в виде религиозного Возрождения, черпающего силы в самом

прогрессе того порядка, который был призван превратить его в одно

лишь воспоминание. Это то, что мы сегодня наблюдаем повсюду. То же

происходит и с расизмом; он становится вирусным и повседневным.

"Научная" и рациональная критика всего этого есть критика

формальная, она разрушает биологическую аргументацию, но при этом

оказывается в ловушке, будучи нацеленной

[193]

лишь на биологическую иллюзию, а не на саму биологию как иллюзию.

Точно также формальный характер носит и политическая и

идеологическая критика расизма, поскольку она обрушивается только

на расистскую одержимость различия, но оставляет в стороне само

различие как иллюзию. Критика, таким образом, сама становится

критической иллюзией, которая ни на что не нацелена, и, в конечном

итоге, выясняется, что расизм переживает рациональную критику так

же легко, как религия - критику материалистическую. Вот почему все

виды критики по существу завершены.

Различию нет разумного применения. Это обнаруживает не только

расизм, но и все антирасистские и гуманистические усилия,

направленные на поддержание и защиту различия. Гуманитарный

универсум, универсум различия повсюду оказывается в полном тупике,

который является тупиком самого понятия универсума. В качестве

свежей иллюстрации можно привести эпизод во Франции с паранджами

молодых женщин из стран Магриба, в котором проявилось лицемерие

bqeu рациональных аргументации, отвергающих тот простой факт, что

решения не существует ни в какой этической или политической теории

различия. Потому что само различие есть иллюзия обратимая. Мы

разнесли его по всем уголкам земного шара, и вот оно вернулось к

нам в неузнаваемом обличьи - исламистском, интеграционистском,

расистском; оно вернулось к нам в качестве иррационального,

неумолимого отличия. И поделом.

[194]

Наше непонимание подобных ситуаций просто фантастично.

Свидетельство тому - эпизод с организацией "Врачи без границ",

когда было замечено, что афганцы предпочитают подпольно

перепродавать поставляемые им медикаменты, нежели пользоваться

ими. Ответственные за акцию учинили мучительный экзамен своей

совести. Надо ли прекратить поставку лекарств или во имя идеи

различий культур терпеть эту специфическую и безнравственную

реакцию? При зрелом размышлении выбрали принесение западной

системы ценностей на алтарь различия и решили продолжать снабжать

черный рынок медикаментами. Гуманизм обязывает.

Другая красочная иллюстрация гуманитарной конфузии: некто г-н

Х был направлен в Судан с целью изучения "потребностей народов

Судана в сфере коммуникаций". Умеют ли суданцы общаться? Факт, что

они голодают и что их надо обучить возделывать сорго. Направлять к

ним наставников-агрономов очень дорого, а потому их следует

обучить всему, что нужно, с помощью видеокассет. Надо же в конце

концов, чтобы они вступили в эру коммуникаций. Пусть сорго

приходит к ним на аудио- и видеокассетах. Ведь если их не

подключить к средствам коммуникаций, они просто-напросто умрут с

голода. Сказано - сделано: города и деревни были снабжены

видеомагнитофонами. Увы, местная мафия быстро овладела сетью

видеосалонов, и вместо учебных кассет открывается прибыльный рынок

кассет

[195]

порнографических. И это нравится населению куда больше, нежели

возделывание культуры сорго. Порно ли, сорго ли, видео ли -

результат один и тот же. Еще одна притча, достойная быть вписанной

в розово-черную книгу коммуникации.

Таков абсурд нашего альтруистического "понимания",

сопоставимый лишь с глубоким презрением, таящимся в нем: под

словами "Мы уважаем ваше различие" подразумевается "Вы

слаборазвиты, и это все, что вам остается, не вздумайте пытаться

избавиться от этого" (символы фольклора и атрибуты нищеты -

подходящие операторы различия). Нет ничего более презрительного и

более достойного презрения. Это наиболее радикальная форма

непонимания. Просто она, по словам Сигалена, относится не к

разряду "вечной непостижимости", но к разряду вечной глупости,

глупости, претенциозно упорствующей в своем существовании и

питающейся различием Другого.

Другие культуры никогда не стремились ни к универсальности,

ни к различию (по крайней мере до тех пор, пока им не начали

насаждать их в виде опиума культурной войны). Они живы своим

своеобразием, своей исключительностью, непреодолимостью своих

ритуалов и своих ценностей. Они не тешат себя убийственной

иллюзией - связать все воедино, иллюзией, которая вполне могла бы

их погубить.

[196]

Тот, кто является властелином универсальных символов отличия

и различия, тот и властелин мира. Замышляющий различие является

антропологически высшим существом (что естественно, ибо он сам и

ophdsl`k антропологию). У него все права, ибо он их сам

изобретает. А тот, кто не замышляет различие, кто не играет в игру

различия, должен быть уничтожен. Именно это и происходит с

американскими индейцами, когда на их землю высаживаются испанцы.

Индейцы ничего не понимали в различии, они существовали в

радикальном отличии (испанцы для них не различны, они боги, и этим

все сказано). Именно это абсолютное преступление - непонимание

различия - и было причиной того неистовства, с которым испанцы их

истребляли, и которое невозможно объяснить никак иначе - ни

экономическими, ни религиозными, ни какими-либо еще мотивациями.

Будучи принужденными приспосабливаться к другой, уже не

радикальной, форме отличия, когда отличие становится предметом

сделки под тенью универсального понятия, индейцы предпочли

коллективно принести себя в жертву. Вот почему они идут на

добровольную смерть с такой страстью, дополняющей безудержное

стремление испанцев к истреблению. Столь странное участие индейцев

в собственном уничтожении - единственный способ сохранить тайну

своего отличия.

И Кортес, и иезуиты, и миссионеры, а позднее и антропологи (и

даже сам Тодоров в "Завоевании Америки") становятся на сторону

отличия, явля-

[197]

ющегося предметом сделки. (Исключение составляет Лас Казес,

который к концу жизни предлагал просто прекратить завоевание и

предоставить их собственной судьбе.) Все авторитетные умы

продолжают верить в разумное использование различия. Другой в

своем радикальном проявлении невыносим, его нельзя уничтожить, но

нельзя и принять: таким образом, необходимо проводить в жизнь

Другого, способного стать предметом сделки, Другого, который

походил бы на различие. И здесь берет свое начало более тонкая

форма уничтожения, при которой вступают в игру все гуманистические

добродетели современности.

Другая версия истребления - индейцы должны быть уничтожены не

потому, что они не христиане, а потому, что они христиане в

большей степени, чем сами христиане. Если их жестокость и

человеческие жертвоприношения невыносимы, то не по причине жалости

или нравственных побуждений, а потому, что эта жестокость

свидетельствует о требованиях их богов и о силе их веры. Эта сила

заставляет испанцев устыдиться несостоятельности собственных

верований; эта сила выставляет в смешном свете западную культуру,

которая, прикрываясь религиозным ханжеством, исповедует лишь

религию золота и торговли. Своей беспощадной религиозностью

индейцы заставляют западный интеллект устыдиться осквернения своих

собственных ценностей. Их фанатизм ужасен, он подобен приговору,

развеянию мифа о культуре в ее же соб-

[198]

ственных глазах (то же самое происходит сегодня с исламом).

Подобное преступление необъяснимо и только само перед собой

способно оправдать уничтожение.

Не очевидно, что Другой существует для всех. Есть ли, скажем,

Другой у дикаря, у первобытного человека. Некоторые отношения

совершенно асимметричны: один может быть Другим для другого, но

при этом этот другой не будет Другим для первого. Я могу быть

Другим для него, а он - не быть Другим для меня.

Алакалуфы с Огненной земли были уничтожены, так и не

попытавшись ни понять белых людей, ни поговорить, ни поторговать с

ними. Они называли себя словом "люди" и знать не знали никаких

других. Белые в их глазах даже не несли в себе различия: они были

просто непонятны. Ни богатство белых, ни их ошеломляющая техника

не производят никакого впечатления на аборигенов: за три века

nayemh они не восприняли для себя ничего из этой техники. Они

продолжают грести в своих челноках. Белые казнят, убивают их, но

они принимают смерть так, как если бы не жили вовсе. Они вымирают,

ни на йоту не поступившись своим отличием. Им так и не суждено

было ассимилироваться, ни даже достичь стадии различия. Они

вымирают, не оказав белым даже чести признания за ними различия.

Они неизлечимы. Для белых же, напротив, они представляют собой

существа "другие", наделенные различием, но человеческие по

[199]

крайней мере настолько, чтобы насаждать среди них Евангелие,

эксплуатировать их, а затем и уничтожать.

Во времена своей независимости алакалуфы называли себя

"люди". Потом белые назвали их тем же именем, которым они стали

называть белых: "чужие". И они сами начинают называть себя на

своем языке словом "чужие". Наконец, в последнее время они

называют себя алакалуфами, тем единственным словом, которое они

еще произносят в присутствии белых и которое обозначает "дай-дай"

- теперь они именуют себя лишь словом, несущим в себе информацию

об их нищете. Сначала они были самими собой, потом стали чужими

самим себе, потом утратили самих себя: трилогия имен, которыми

этот народ последовательно называл себя, отражает историю его

истребления. Разумеется, убийство - деяние тех, кто обладает

универсальной способностью наблюдать различия и манипулировать ими

в своих собственных целях. Алакалуфы с их самобытностью, не

позволявшей даже представить себе Другого, неизбежно должны были

потерпеть крушение. Но нет уверенности, что уничтожение этой

самобытности по истечении длительного времени не станет фатальным

и для белых; это будет реванш, одержанный радикальной

необычностью, изгнанной прочь колониальным гуманизмом; став

вирусом в крови белых людей, эта необычность и их обречет на

исчезновение.

[200]

Все подчиняется системе, и в то же время все ускользает от

нее. Народы мира, которые делают вид, что ведут западный образ

жизни, никогда до конца не принимают и втайне презирают его. Они

остаются эксцентричными по отношению к этой системе ценностей. Их

манера приобщения, их стремление зачастую быть более фанатичными

поклонниками Запада, чем сами граждане западных стран, их

подделки, изготовляемые из останков века Просвещения и прогресса

обладают всеми чертами пародии, обезьянничанья. Когда они ведут

переговоры с Западом, когда вступают с ним в сделку, они

продолжают считать основополагающими свои собственные ритуалы.

Может быть, однажды они исчезнут, подобно алакалуфам, так и не

принявшим белых всерьез (в то время как мы-то относимся к ним

весьма серьезно, будь то в целях ассимиляции или уничтожения; они

даже становятся решающими негативными моментами в нашей системе

ценностей).

Может быть, однажды исчезнут и сами белые, так и не поняв,

что их белизна есть лишь результат шокирующего сближения и

смешения всех рас и всех культур, подобно тому, как белый цвет

представляет собой амальгаму всех цветов. Но цвета можно

сравнивать не иначе, как используя универсальную шкалу частот.

Сравнение различных культур также возможно, только если прибегнуть

к структурной шкале различий. Но эта игра асимметрична. Ведь

только для западной куль-

[201]

туры все прочие несут в себе различие. Что же до самих других

культур, то белые для них не являют никаких различий, они просто-

напросто не существуют, они - призраки из другого мира.

Представители других культур меняют вероисповедание, в душе смеясь

m`d гегемонией Запада, подобно тому, как догоны преподносят

психоаналитикам подарки в виде снов, которые они сочиняют

исключительно ради того, чтобы доставить удовольствие последним.

Другие народы не уважают нашу культуру и не испытывают к ней

ничего, кроме снисхождения. Если мы завоевали себе право

порабощать и эксплуатировать их, то они, в свою очередь, позволяют

себе роскошь нас мистифицировать.

Самое странное впечатление, которое оставляют произведения

Брюса Четвина об аборигенах ("Тропы напевов", "Время грез"), - это

то, что они совершенно озадачивают нас во всем, что касается

реальности путей, поэтических и музыкальных маршрутов, песен,

грез. Все эти рассказы озарены каким-то светом мистификации,

оптической иллюзии мифа. Все происходит так, как если бы аборигены

навязывали нам и нечто самое сокровенное и подлинное (миф в его

наиболее загадочной, астральной форме), и нечто сверхсовременное и

лживое: мы испытываем какую-то нерешительность в отношении

рассказа в целом и глубокие сомнения по поводу его происхождения.

Создается впечатление, что аборигены дела-

[202]

ют вид, что верят во все эти небылицы для того, чтобы мы смогли

поверить в них. С каким-то злобным удовольствием они играют в

секреты и недомолвки; они приоткрывают некоторые знаки, но правила

игры - никогда; кажется, они импровизируют, угождая нашему

воображению и не делая при этом никаких усилий, чтобы убедить нас

в правдивости того, что они говорят. Такова их манера хранить

тайну и насмехаться над нами, ибо мы, по сути, единственные, кто

хочет верить в их сказки.

Их секрет не в том, о чем они умалчивают; он целиком скрыт в

нити рассказа, лежит на его поверхности, недоступной нашему

пониманию. Это ироническая форма мифологии без внутреннего

содержания. И в этом действе они оказываются высшими, а мы -

примитивными существами. Белых людей так и не прекращают

мистифицировать.

Эта имитация ценностей для белых универсальна и возникает,

как только мы пересекаем границы нашей культуры. Но по сути разве

мы сами, не будучи ни алакалуфами, ни аборигенами, ни догонами, ни

арабами, не смеемся над собственными ценностями? Разве мы не

пользуемся ими с таким же позерством, с той же скрытой

беззастенчивостью, когда сами в глубине души чувствуем, что нас

мало убеждают демонстрации силы, парады технологий и идеологий? Но

понадобится еще немало времени, прежде чем перед нами во всем

своем сиянии предстанет утопическая

[203]

абстракция универсального видения различий, в то время как другие

культуры уже ответили на это тотальным равнодушием.

Не стоит вопрос о том, чтобы восстановить туземцев в их

законных правах или предоставить им место в соглашении по правам

человека, - их реванш в другом: в возможности дестабилизировать

западную империю. Это их фантомное, призрачное, вирусное

присутствие в соединении двух нервных клеток нашего собственного

мозга, в орбитальных полетах наших собственных ракет порождает то,

имя чему - Отчужденность. Именно так белые подцепили вирус

первопричины, вирус "индейский", "аборигенский", "патагонский".

Уничтожение проникает в наши вены путем неумолимого переливания,

путем инфильтрации. Реванш за колонизацию состоит не в том, чтобы

индейцы или иные аборигены вновь завладели своими территориями,

qbnhlh привилегиями, своей автономией, - это была бы наша победа,

но в том воздействии, благодаря которому белые оказались

мистически охвачены идейным разбродом собственной культуры,

унаследованной от предков медлительностью, поддаваясь постепенно

засилью "времени грез". Мировой феномен перемещения в обратном

порядке. Можно заметить, что ничего из считавшегося завершенным в

неумолимом марше к универсальному прогрессу, абсолютно ничего из

этого не кануло в Лету, все появляется вновь, причем

[204]

отнюдь не в виде архаических или ностальгических следов прошлого

(вопреки нашим чрезмерным усилиям превратить все это в достояние

музеев). Это новое пришествие сопровождается вполне современным

пылом и вирулентностью, оно проникает в самую сердцевину наших

сверхизощренных и сверхуязвимых систем, которые убирают паруса без

всякого сопротивления.